

М и х а и л    Б а р у

## НАПОМИНАЮЩИЕ ЖЕНЩИНЫ

Все черное — и вечернее небо в созвездиях лимонно-желтых и апельсиновых фонарей, и собранные дворниками кучи подтаявшего снега, и покрытый прозрачной коркой льда черный асфальт, и черные голые ветви деревьев, и сами черные голые деревья, на которых еще нет ни зеленой дымки, ни почек, ушедшие в себя, замершие в нерешительности между ушедшей зимой и куда-то запропастившейся весной, напоминающие женщин, которые еще не знают, что беременны.

•

Вроде все как всегда, как и в прошлом, и даже в позапрошлом году, — то же небо опять голубое, тот же парк, тот же воздух, те же набухшие талой водой вены парковых дорожек, сережки на орешнике, огромный трухлявый пенёк в зеленых побегах папоротника, далекий шум электрички, уткнувшийся в свой телефон и шлепающий прямо по лужам мужчина, лужи, битком набитые клочьями облаков, бодро переставляющая палки для скандинавской ходьбы старуха в вязаном берете, одинокий ворон на голой сосновой ветке, девушка, сидящая на скамейке и подставляющая бледное лицо навстречу рою веснушек, с неслышным ультразвуковым жужжанием вылетающему из солнечного луча, чтобы усыпать кому-нибудь нос, или щеки, или руки, или шею, на которой о чем-то пульсирует тонкая голубая жилка... а весна каждый раз новая.

•

Остриженные черные липы выглядят как выздоравливающие после долгой болезни. По газонам важно расхаживают дрозды и

беззаботно скачут зяблики. На свежескрашенные скамейки под липами рабочие в оранжевых куртках рассаживают влюбленных. Те еще толком не проснулись после зимы и норовят снова заснуть, как только рабочие отворачиваются, чтобы подстричь какое-нибудь дерево или убрать валяющуюся на дорожке обертку от мороженого. Влюбленные только и умеют, что жмуриться на солнце и на друг дружку. Никак не поймут, куда девать руки, и потому кладут их куда попало — вместо чужого колена или талии могут обхватить собственную голову и раскачиваться, как маятники, пока рабочие или кто-нибудь из гуляющих в парке их не остановят. Потом-то они обвыкнут, станут обниматься, распускать руки, прятать головы на груди друг у друга, вытягивать для поцелуев губы сантиметром на пять, а то и на десять, и целоваться до их посинения, но пока...



Старый пруд. Мимо расцветающих водяных лютиков, мимо острых стеблей сабельника, по облаку, по отражениям ветвей старого дуба, усыпанным облетающими розоватыми цветами черемухи, медленно плывет селезень. С берега ему бросают кусочки булки две сидящие на скамейке старушки. Одна из старушек, одетая в голубой сарафан, соломенную шляпку и белые кружевные носки, говорит другой, в кроссовках и в клетчатой сумке на колесах:

— Сейчас я уже не откладываю, а просто живу на свою пенсию. Раньше-то, когда мой Толечка был жив и я работала, то откладывала, конечно. Правда, он мне ничего не давал. Ни копейки.

— И куда же все ушло? — спрашивает старушка в кроссовках и в клетчатой сумке на колесах.

— На его б...ей, — отвечает старушка в кружевных носках и тяжело вздыхает. — Всё, до копейки.



Сидишь на старом рассохшемся причале, смотришь, как молодое весеннее солнце играет в темной воде, на пушистые ольховые сережки с нежными, как мечты о первом поцелуе, листочками, на

цветки мать-и-мачехи, высыпавшие гурьбой на берег, на изумрудный мох, выросший на старом пне, на молоденький, толщиной с мизинец, сеянец сосны, выросший в корнях у старой березы, на снующие туда и сюда моторки с рыбаками, на дом отдыха на том берегу, слушаешь доносящиеся оттуда веселую музыку и женский округло-жемчужный смех, чувствуешь щекочущий ноздри запах шашлыков, специй и чего-то такого волнующего, чему даже и названия невозможно найти, и думаешь: как же хорошо здесь поздней осенью, где-нибудь в самой середине ноября, когда нет ни дачников, ни туристов, когда вода у берега усыпана опавшими листьями и рыжими сосновыми иголками, когда не слышно ни смеха, ни обрывков разговоров, когда небо затянуто серыми тучами отсюда и до самого Египта или даже до Эфиопии, когда из музыки только мышинный шорох бесконечного дождя, идущего третий день подряд, и жалобное подвывание ветра, когда на душе под легкой и прозрачной осенней грустью лежит и ворочается тяжелая, густая и зеленая, точно крыжовенное варенье, тоска, которую ты добавляешь ложками и в чай, и в водку, и в бесконечные, как осенние ночи, письма, которые непременно писал бы каждый день, если бы было кому.



Небо серое, беспросветное, опустившееся почти до земли. Пруд старый с островом посередине. Наполовину растаявший лед, ноздреватый, серый и желтый, усыпанный обломками сосновых и ольховых веток, шишек и прошлогодними листьями. На берегу, на тропинке, огибающей пруд, окаменело сидят друг на дружке задумчивые спаривающиеся лягушки и ни на кого не обращают никакого внимания. Из-под ног отпрыгивают нехотя и недалеко. Под соснами, на сырой черной земле, зеленеет вездесущая сныть и цветет медуница.

Тянет шашлычным дымом. Возле переносного мангала, на котором готовятся куриные крылья, суетятся двое мужчин. Женщина с пластиковым стаканом пива в руке первый раз после долгой зимы пробует смеяться грудным русалочьим смехом. Получается хорошо, почти как у русалок, когда они переливчато и серебристо смеются, завлекая моряков в пучину опасных связей, вот только

маловато грудного. Может, оттого, что в руке у женщины пиво, а не вино или водка.

Метрах в двадцати от мангала, под старой березой, стоит алюминиевый столик, на котором возвышается большой пасхальный кулич с воткнутой в него наполовину сгоревшей свечкой. Вокруг кулича на маленьких складных стульчиках сидят два совершенно одинаковых мальчика лет шести-семи, девочка постарше и худой, со впалыми щеками, мужчина с пышной шевелюрой — по всей видимости, отец семейства. У детей в руках крашеные яйца. Их мама делает три дела сразу — поджигает свечу, режет кулич и зовет к столу крошечное существо размером с огромную божью коровку юрского периода, в ярко-красной куртке и велосипедном шлеме на пять размеров больше. Божья коровка неумоимо нарезает круги вокруг стола и повизгивает от полноты чувств. В кулачке у нее зажато полураздавленное яйцо.

Ближе к впадающему в пруд ручью, на старой полуразвалившейся садовой скамейке примостились мужчина и беременная женщина. Они попеременно пьют из белой пластиковой бутылки то ли кефир, то ли ряженку и закусывают ватрушками. Женщина думает о том, что хорошо бы не уезжать насовсем, а только на время сбежать в какой-нибудь Египет, к теплому морю, и вернуться, когда все успокоится... а мужчина думает о том, что бог знает когда все успокоится, что в Египет нет никакого смысла бежать. Турция ближе. Можно подумать, что нас там ждут, в этом Египте, не говоря о Турции. Нас даже в Костроме никто не ждет, а уж в Египте... Про Ирода и говорить нечего — он нас всех переживет.

Кефир у них кончается, и начинается дождь — мелкий, холодный и прилипчивый. Мужчина поднимается, помогает встать женщине, берет ее под руку, и они уходят.



По обочинам дороги лежит почерневший и на глазах истаивающий снег. Лес еще пустой — дубы, осины и березы стоят голые, но уже сережки на ольхе, уже цветет небесно-голубая перелеска, уже желтеют среди прошлогодней жухлой травы резные звездочки гусиного лука, темнеют фиолетовые лепестки еще полуоткрытых лесных фиалок и жирно зеленеют листья вездесущего борщевика. Из-под опавшей листвы то тут, то там алеют маленькие, величиной

с вогнутую пятирублевую монету, грибы, называемые ботаниками саркосцифой алой, а людьми обычными, но не лишенными воображения — эльфowymi чашами. Из них пьют цветочный нектар эльфы — те самые, у которых королевой когда-то была Дюймовочка. В наших северных краях эльфы, однако, не живут и даже не прилетают на лето размножаться, и потому эти грибы растут в средней полосе просто так, ни для кого, и пьют из них обычную дождевую воду все, кому охота, — от лесных мышей до лягушат. Называют у нас эльфовы чаши обидно — бабушкиным ухом. Бог знает почему.

Кора со стволов и веток множества деревьев обглодана лосями на большую высоту. Наверное, им приходилось становиться на задние ноги или очень сильно вытягивать губы, чтобы доставать до самых высоких веток. Впрочем, у лосей для этого все приспособлено самой природой — и длинные ноги, и огромные толстые губы, которые можно вытягивать на какую хочешь длину. Подножия обглоданных деревьев густо усеяны лосиным пометом, и нужно быть очень осторожным, чтобы в него не наступить. У одной из обглоданных осин лежат две кучки — одна из них большая и темная, а другая маленькая, состоящая из светлых горошин. Большая осталась от огромной лосихи, объевшей кору со ствола и веток на почти четырехметровую высоту, а маленькая от недавно родившегося лосенка, еще грудничка. Кору он не обглаживал, а стоял и сосал молоко. Деревенский житель обходит такие места стороной, если только не забредет сюда собирать первые сморчки, а для выехавшего на природу горожанина вид этих детских кучек рядом со взрослыми страшно трогателен, и он умиляется им до тех пор, пока не сядет в свою машину, не захлопнет дверь и не выжмет перепачканным ботинком сцепление...\*



В молодости, если ты приехал с компанией на берег реки, то нужно непременно что-то делать — ставить мангал, собирать для

---

\* Выйдя в понедельник на работу, он непременно расскажет сослуживцам об увиденном в лесу и даже покажет им сохраненные в телефоне фотографии обглоданных стволов, веток и кучек. Сослуживцы послушают, посмотрят, поумиляются из вежливости вместе с ним минуту-другую и потом будут долго чертыхаться про себя, потому как не смогут все это развидеть дня два, а то и три.

него сухостой, доставать из сумки замаринованные куриные крылья, охлаждать банки с пивом, наливать девушкам в пластиковые стаканы сухое вино, рассказывать им анекдоты, смеяться вместе ними и вместо них, отгонять от них комаров, чесать им укушенные места... всего не перечислить. Человеку в возрасте куда проще — достаточно поставить складной стул, усесться и смотреть на воду, на сухие стебли рогоза, на лежащую на берегу деревянную лодку с проломленным днищем, на рыбака, у которого не клюет с самого утра, на проплывающую мимо старую галошу, слушать крики чаек, свист ветра, хор одуревших от любви лягушек и самому быть рекой, сухим стеблем рогоза, деревянной лодкой с проломленным днищем, рыбаком, кричащей чайкой, поющей лягушкой, свистящим ветром... Через час или два взглянуть на часы, достать из кармана таблетки, принять их, запить теплой водой из принесенного с собой маленького термоса и снова сидеть, смотреть, слушать и быть, а вечером — вместо того, чтобы ехать провожать девушек черт знает в какую даль, прощаться с ними и не уходить, — прийти домой, лечь спать и проспять беспробудно всю ночь или, по крайней мере, часов до пяти утра, чтобы только потом ворочаться с боку на бок, читать старые журналы или новости в телеграмме и ждать, пока окончательно рассветет.



Трудно быть Богом — надо все предусмотреть: и весну, и лес, и заросший травой муравейник, и на нем россыпь цветов, у которых ровно шесть, а не пять или семь нежно-фиолетовых лепестков, а там, где лепестки сходятся, поместить желтый пушистый шар пестика с булавочную головку, а из-под него вырастить тридцать восемь белоснежных тычинок с раздвоенными пыльниками на концах, а к пыльникам пригнать голодного и дрожащего от холода только что проснувшегося шмеля, чтобы он изгваздался в пыльце и перекрестно опылил другие такие же цветы и у них потом выросли бледно-голубые или почти белые лепестки, а сам улетел кормить цветочным нектаром своих голодных шмелиных деток... Как Он все это помнит и не путает — ума не приложу. За что ни возьмись — все можно перепутать: и количество лепестков, и тычинок, и цвет у пестика, и пригнать сонного ничего не соображающего

шмеля именно к этим голубым цветам, а не к тем желтым, и отправить обратно с нектаром в нору, к семье, а не дать его склевать на обратном пути какой-нибудь синице, ласточке или даже курице. Другое дело — безжалостная эволюция, у которой все заранее расчерчено по квадратам: в одном квадрате цветочная пыльца, в другом механизм перекрестного опыления, в третьем шмелиный инстинкт, в четвертом сам шмель, а в пятом курица или синица, которые его склюют. Маленьких шмелей нет ни в каком квадрате, пусть даже и самом маленьком. Они умерли от голода или вовсе не родились и вычеркнуты отовсюду. Тьфу.



Стоишь на берегу огромной лужи, полной до краев талой водой, смотришь на тонкие стволы молодых осин с темными полосами еще не высохшей воды, на прошлогоднюю бурую листву, устилающую дно, на упругие ладошки белокрыльника, упрямо торчащие над поверхностью бликующей воды, переполненной солнцем так, что от взгляда на нее хочется чихнуть, на пронизанные ярко-оранжевыми лучами нежно-зеленые стрелки рогоза, на юрких головастиков, снующих между отражениями этих стрелок, на торчащий из воды серый камень, на котором сидит полусонная бабочка-лимонница и разминает затекшие за зиму крылья, на крошечное, черное, многоногое, без крыльев, упрямо ползущее по наклонной ветке прямо в воду, и думаешь о том, что весной лучше не думать ни о чем, кроме... ни о чем, и все тут. Только мечтать. Думать хорошо осенью, когда ударят первые заморозки, когда ветер будет гонять опавшие осиновые листья, когда полетит во все стороны пух из разлохмаченных початков рогоза, когда... Да и тогда лучше ни о чем не думать, потому как поздно будет. Просто постоять минут десять или пятнадцать, покурить, поломать каблуком тонкий ледок, посмотреть из-под приставленной ко лбу ладони на плывущие облака, утереть слезу, выступившую от ветра, и пойти домой укукливаться в толстое верблюжье одеяло, в шерстяные носки ручной вязки, взять на всякий случай с собой пакет сдобных сухарей с изюмом, залезть в самый темный угол чулана или антресолей или даже запереться в платяном шкафу изнутри, чтобы никто не смог тебя случайно найти и вызвать на работу, впасть в оцепенение и зимовать.



Придешь на закате на берег реки, сядешь на складной стул и вместо того, чтобы любоваться белыми, серыми и золотыми облаками, плывущим мимо тебя выводком утят, бледной луной, волнующейся под ветром травой, шумящими камышами, кругами на воде от рыб, хватающих неосторожных комаров и мошек, загорелой купальщицей, медленно шевелящей плавниками в теплой, как парное молоко, воде, голубыми фонарями, зажегшимися на далеком пешеходном мосту, начнешь придумывать, как все это соединить в одно длинное и красивое предложение, по которому снять фильм... но ничего не получится, потому что фильм уже сняли и не один, и тогда начнешь прибавлять к этому пейзажу то крестьянок в сарафанах, водящих хороводы, то плывущую галеру, на которой музыканты в костюмах восемнадцатого века играют «Музыку на воде», то дам в кринолинах, таинственно шуршащих и смеющихся волнующим грудным смехом в прибрежных зарослях, кавалеров в камзолах и белых шелковых чулках, то мужиков, вытаскивающих из воды огромного сома или осетра, полного черной икры, то столик в купальне, уставленный кипящим самоваром, сдобными калачами, сливками к чаю, вареньями разных сортов и бутылкой вишневой наливки... но ничего не получится, потому, что предложение станет слишком длинным, на нем образуются некрасивые складки, перепутаются подлежащие с надлежащими и сказуемые с непредсказуемыми, завяжутся ненужные узелки, причастные обороты сделаются деепричастными, и ты встанешь, сложишь стул, и пойдешь домой пить травяной чай с диетическими цельнозерновыми хлебцами для похудения, или вовсе ляжешь спать голодным.



...и перебегающий тропинку мышонок с дрожащим хвостом и огромными от страха черными глазами, и сама тропинка, усыпанная перепрелыми прошлогодними листьями, и белка, скачущая по веткам старой липы, и бледно-фиолетовые цветы луговой герани, и красные полупрозрачные ягоды жимолости, и стайка белоглазых маргариток, неизвестно как сбежавшая из сада на берег



пруда, и медленно плывущее по серой в облаках воде отражение самолета, и водомерки, его обгоняющие, и раскрытые кувшинки, и засохшая ива на берегу, и селезень, уснувший на торчащем из воды трухлявом пне, и сам пруд укутаны в три или даже четыре слоя тяжелой, волглой, увитой запахами цветущего хмеля и мяты, душевной тишиной, какая бывает перед грозой или перед семейным скандалом, когда погромыхивает где-то далеко, на кухне, пахнет пригоревшими котлетами, а на диване еще тихо, и только дети, как ласточки, ни с того, ни с сего начинают летать низко, рассаживаются по углам и даже берут в руки Пушкина или Тургенева, которых им задали читать на лето.

